

Иван Тургенев

Три портрета



Иван Тургенев

Три портрета

«Public Domain»

1846

Тургенев И. С.

Три портрета / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1846

««Соседство» составляет одну из важнейших неприятностей деревенской жизни. Я знал одного вологодского помещика, который, при всяком удобном случае, повторял следующие слова: «Слава богу, у меня нет соседей», – и, признаюсь, не мог не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится в одной из многолюднейших губерний России. Я окружен великим множеством соседушек, начиная с благонамеренных и почтенных помещиков, облеченных в просторные фраки и просторнейшие жилеты, и кончая записными гуляками, носящими венгерки с длинными рукавами и так называемым «фимским» узлом на спине...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

9

Иван Сергеевич Тургенев

Три портрета

«Соседство» составляет одну из важнейших неприятностей деревенской жизни. Я знал одного вологодского помещика, который, при всяком удобном случае, повторял следующие слова: «Слава богу, у меня нет соседей», – и, признаюсь, не мог не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится в одной из многолюднейших губерний России. Я окружен великим множеством соседушек, начиная с благонамеренных и почтенных помещиков, облеченных в просторные фраки и просторнейшие жилеты, и кончая записными гуляками, носящими венгерки с длинными рукавами и так называемым «фимским» узлом на спине. В числе всех этих дворян случайным образом открыл я, однако ж, одного весьма любезного малого: он прежде служил в военной службе, потом вышел в отставку и поселился на веки веков в деревне. По его рассказам, он служил два года в П – м полку; но я решительно не понимаю, как мог этот человек нести какую-нибудь обязанность не только в течение двух лет, но даже в продолжение двух дней. Он был рожден «для жизни мирной, для деревенской тишины», то есть для ленивого, беспечного прозябания, которое, замечу в скобках, не лишено великих и неистощимых прелестей. Он пользовался весьма порядочным состоянием: не заботясь слишком о хозяйстве, проживал около десяти тысяч рублей в год, достал себе прекрасного повара (мой приятель любил хорошо покушать); также выписывал себе из Москвы новейшие французские книги и журналы. По-русски же читал он одни лишь донесения своего приказчика, и то с большим трудом. Он с утра (если не уезжал на охоту) до обеда и за обедом не покидал халата; перебирал какие-нибудь хозяйственные рисунки, не то отправлялся на конюшню или в молотильный сарай и пересмеивался с бабами, которые при нем взмахивали цепями, как говорится, спрехвалá. После обеда мой друг одевался перед зеркалом весьма тщательно и ехал к какому-нибудь соседу, одаренному двумя или тремя хорошенькими дочками; беспечно и миролюбиво волочил за одной из них, играл с ними в жмурки, возвращался домой довольно поздно и тотчас же засыпал богатырским сном. Он скучать не мог, потому что никогда не предавался полному бездействию; а на выбор занятий не был прихотлив и, как ребенок, тешился малейшей безделицей. С другой стороны – особенной привязанности к жизни он не чувствовал и, бывало, когда приходилось *перескакивать* волка или лисицу, – пускал свою лошадь во всю прыть по таким рывтинам, что я до сих пор понять не могу, как он себе сто раз не сломал шею. Он принадлежал к числу тех людей, которые возбуждают в вас мысль, что они сами себе не знают цены, что под их наружным равнодушием скрываются сильные и великие страсти; но он бы рассмеялся вам в нос, если б мог догадаться, что вы питаете о нем подобное мнение; да и, признаться сказать, я сам думаю, что если и водилось за моим приятелем в молодости какое-нибудь хотя не ясное, но сильное стремление к тому, что весьма мило названо «чем-то высшим», то это стремление давным-давно в нем угомонилось и *зачичкало*. Он был довольно толст и наслаждался превосходным здоровьем. В наш век нельзя не любить людей, мало помышляющих о самих себе, потому что они чрезвычайно редки... а мой приятель едва ли не забыл о своей особе. Впрочем, я, кажется, уже слишком много говорю о нем, – и моя болтовня тем более неуместна, что не он служит предметом моего рассказа. Его звали Петром Федоровичем Лучиновым.

В один осенний день съехалось нас человек пять записных охотников у Петра Федоровича. Целое утро мы провели в поле, затравили двух волков и множество зайцев и вернулись домой в том восхитительно приятном расположении духа, которое овладевает всяким порядочным человеком после удачной охоты. Смеркалось. Ветер разыгрывался в темных полях и шумно колебал обнаженные вершины берез и лип, окружавших дом Лучинова. Мы приехали, слезли с коней... на крыльце я остановился и оглянулся: по серому небу тяжко ползли длинные

тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел; желтая трава бессильно и печально пригибалась к земле; стаи дроздов перелетывали по рябинам, осыпанным ярко-пунцовыми гроздьями; в тонких и ломких сучьях берез с свистом попрыгивали синицы; на деревне сипло лаяли собаки. Мне стало грустно... зато я с истинной отрадой вошел в столовую. Ставни были заперты; на круглом столе, покрытом скатертью ослепительной белизны, среди хрустальных графинов, наполненных красным вином, горело восемь свечей в серебряных подсвечниках; в камине весело пылал огонь – и старый, весьма благообразный дворецкий, с огромной лысиной, одетый по-английски, стоял в почтительной неподвижности перед другим столом, на котором уже красовалась большая суповая чаша, обвитая легким и пахучим паром. В сенцах мы прошли мимо другого почтенного человека, занятого морожением шампанского – «по строгим правилам искусства». Обед был, как водится в подобных случаях, чрезвычайно приятный; мы хохотали, рассказывали происшествия, случившиеся на охоте, и с восторгом упоминали о двух знаменитых «угонках». Покушавши довольно плотно, расположились мы в широких креслах около камина; на столе появилась объемистая серебряная чаша, и через несколько мгновений беглое пламя запывавшего рома возвестило нам о приятном намерении хозяина «сотворить жженку». Петр Федорович был человек не без вкуса; он, например, знал, что ничего не действует так убийственно на фантазию, как ровный, холодный и педантический свет ламп, – потому велел оставить в комнате всего две свечи. Странные полутени трепетали по стенам, произведенные прихотливою игрою огня в камине и пламенем жженки... Тихая, чрезвычайно приятная отрада заменила в наших сердцах несколько буйную веселость, господствовавшую за обедом.

Разговоры имеют свои судьбы – как книги (по латинской пословице), как всё на свете. Наш разговор в этот вечер был как-то особенно разнообразен и жив. От частных восходил он к довольно важным общим вопросам, легко и непринужденно возвращался к ежедневностям жизни... Поболтавши довольно много, мы вдруг все замолчали. В то время, говорят, пролетает тихий ангел.

Не знаю, отчего мои товарищи затихли, но я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трех запыленных портретах в черных деревянных рамках. Краски истерлись и кое-где покоробились, но лица можно было еще разобрать. На среднем портрете изображена была женщина молодых лет, в белом платье с кружевными каемками, в высокой прическе восьмидесятых годов. Направо от нее, на совершенно черном фоне виднелось круглое и толстое лицо доброго русского помещика лет двадцати пяти, с низким и широким лбом, тупым носом и простодушной улыбкой. Французская напудренная прическа весьма не согласовалась с выражением его славянского лица. Живописец изобразил его в кафтане алого цвета с большими стразовыми пуговицами; в руке держал он какой-то небывалый цветок. На третьем портрете, писанном другою, более искусною рукою, был представлен человек лет тридцати, в зеленом мундире екатерининского времени, с красными отворотами, в белом камзоле, в тонком батистовом галстухе. Одной рукой опирался он на трость с золотым набалдашником, другую заложил за камзол. Его смуглое, худошавое лицо дышало дерзкою надменностью. Тонкие длинные брови почти срастались над черными как смоль глазами; на бледных, едва заметных губах играла недобрая улыбка.

- Что вы это загляделись на эти лица? – спросил меня Петр Федорович.
- Так! – отвечал я, посмотрев на него.
- Хотите ли выслушать целый рассказ об этих трех особах?
- Сделайте одолжение, – отвечали мы в один голос.

Петр Федорович встал, взял свечку, поднес ее к портретам и голосом человека, показывающего диких зверей, «Господа! – провозгласил он, – эта дама – приемный мой родной прадедушки, Ольга Ивановна NN., прозванная Лучиновой, умершая лет сорок тому назад, в девичах. Этот господин, – показывая на портрет мужчины в мундире, – гвардии сержант, Василий

Иванович Лучинов же, скончавшийся волею божиею в тысяща семьсот девяностом году; а этот господин, с которым я не имею чести состоять в родстве, некто Павел Афанасьевич Рогачев, нигде, сколько мне известно, не служивший. Извольте обратить внимание на дыру, находящуюся у него на груди, на самом месте сердца. Эта дыра, как вы видите, правильная, трехгранная, вероятно, не могла произойти случайно... Теперь, – продолжал он обыкновенным своим голосом, – извольте усесться, вооружитесь терпением и слушайте».

– Господа! – начал он, – я происхожу от довольно старинного рода. Я моим происхождением не горжусь, потому что мои предки были все страшные мотыги. Впрочем, этот упрек не относится к моему прадеду, Ивану Андреевичу Лучинову, – напротив: он слыл за человека чрезвычайно бережливого и даже скупого – по крайней мере, в последние годы своей жизни. Он провел свою молодость в Петербурге и был свидетелем царствования Елизаветы. В Петербурге он женился и прижил с своей женой, а моей прабабушкой, четырех человек детей – трех сыновей, Василия, Ивана и Павла (моего родного деда), и одну дочь, Наталью. Сверх того, Иван Андреевич принял к себе в семейство дочь одного отдаленного родственника, круглую безымянную сироту – Ольгу Ивановну, о которой я уже вам говорил. Подданные моего дедушки, вероятно, знали о его существовании, потому что высылали к нему (когда не случалось особого несчастья) весьма незначительный оброк – но никогда в лицо его не видали. Сельцо Лучиновка, лишенное лицезрения своего господина, процветало, – как вдруг, в одно прекрасное утро, тяжелая колымага въехала в деревню и остановилась перед избой старосты. Мужики, встревоженные таким небывалым происшествием, сбежались и увидели своего барина, барыню и всех их чад, исключая старшего, Василия, оставшегося в Петербурге. С того достопамятного дня и до самой своей кончины Иван Андреевич не выезжал из Лучиновки. Он выстроил себе дом, тот самый, в котором я теперь имею удовольствие беседовать с вами; построил также церковь и начал жить помещиком. Иван Андреевич был человек огромного роста, худой, молчаливый и весьма медлительный во всех своих движениях; никогда не носил халата, и никто, исключая его камердинера, не видал его ненапудренным. Иван Андреевич обыкновенно ходил, залажа руки за спину, медленно поворачивая голову при каждом шаге. Всякий день прогуливался он по длинной липовой аллее, которую сам собственноручно насадил, – и перед смертью имел удовольствие пользоваться тенью этих лип. Иван Андреевич был чрезвычайно скуп на слова; доказательством его молчаливости служит то замечательное обстоятельство, что он в течение двадцати лет не сказал ни одного слова своей супруге, Анне Павловне. Вообще его отношения к Анне Павловне были весьма странного рода. Она заведовала всем домашним хозяйством, за обедом сидела всегда возле своего мужа – он нещадно наказал бы человека, который осмелился бы сказать ей одно непочтительное слово, – а между тем сам с ней никогда не говорил, не прикасался к ее руке. Анна Павловна была робкая, бледная, убитая женщина; каждый день молилась в церкви на коленях и никогда не улыбалась. Толковали, что они прежде, то есть до приезда в деревню, жили в большем ладу; поговаривали также, что Анна Павловна нарушила свои супружеские обязанности, что муж узнал о ее проступке... Как бы то ни было, но Иван Андреевич, даже умирая, не примирился с ней. Во время последней его болезни она не отлучалась от него; но он, казалось, ее не замечал. В одну ночь Анна Павловна сидела в спальне Ивана Андреевича; его мучила бессонница; лампада горела перед образом; слуга моего дедушки, Юдич, о котором я вам впоследствии скажу два слова, вышел. Анна Павловна встала, перешла через комнату и, рыдая, бросилась на колени перед постелью мужа, хотела что-то сказать – протянула руки... Иван Андреевич посмотрел на нее – и слабым голосом, но твердо закричал: «Человек!» Слуга вошел, Анна Павловна поспешно встала и, шатаясь, возвратилась на свое место.

Дети Ивана Андреевича чрезвычайно его боялись. Они выросли в деревне и были свидетелями странного обхождения Ивана Андреевича с своей женою. Они все страстно любили Анну Павловну, но не смели высказать свою любовь. Она сама как будто их чуждалась... Вы

помните, господа, моего деда: он до самой смерти всегда ходил на цыпочках и говорил шепотом... что значит привычка! Мой дед и брат его, Иван Иванович, были люди простые, добрые, смиренные и грустные; моя grand'tante¹ Наталья вышла, как вам известно, замуж за грубого и глупого человека и до смерти питала к нему безмолвную, подобострастную, овечью любовь. Но не таков был брат их Василий. Я вам, кажется, сказывал, что Иван Андреевич оставил его в Петербурге. Ему было тогда лет двенадцать. Отец поручил его попечениям одного отдаленного родственника, человека уже не молодого, холостого, страшного вольтерьянца.

Василий вырос, поступил на службу. Он был не велик ростом, но хорошо сложен и чрезвычайно ловок; прекрасно говорил по-французски и славился своим умением драться на шпагах. Его считали одним из блистательных молодых людей начала царствования Екатерины. Отец мой мне часто говаривал, что он знал не одну старушку, которая без сердечного умиления вспомнить не могла о Василье Ивановиче Лучинове. Вообразите себе человека, одаренного необыкновенной силой воли, страстного и расчетливого, терпеливого и смелого, скрытного до чрезвычайности и – по словам всех его современников – очаровательно, обаятельно любезного. В нем не было ни совести, ни доброты, ни честности, хотя никто же не мог назвать его положительно злым человеком. Он был самолюбив – но умел таить свое самолюбие и страстно любил независимость. Когда, бывало, Василий Иванович, улыбаясь, ласково прищурит черные глаза, когда захочет пленить кого-нибудь, говорят, невозможно ему было противиться – и даже люди, уверенные в сухости и холодности его души, не раз поддавались чарующему могуществу его влияния. Он усердно служил самому себе и других заставлял трудиться для своих же выгод, и всегда во всем успевал, потому что никогда не терял головы, не гнушался лести как средства и умел льстить.

¹ Двоюродная бабушка (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.